Страшево.

Святая Русь – страна деревянная, страшная...

Мы уезжали, кажется, с Варшавского вокзала. Ехали до Гатчины. Там, на кольцевой, пересели на другую ветку, на поезд, набитый усталыми людьми с сумками и мешками, на которых сидели дети за недостатком сидячих мест. От спёртого воздуха и усталости клонило в сон. В Волховстрое заночевали на станции в зале ожидания. По утрам с окрестных деревень и сёл свозили на одноколейке рабочих на строительство Волховской гидроэлектростанции. Обратный поезд шёл порожняком. Вот на нём мы и ехали от Волховстроя до большого села Колчанова. Оттуда надо было перебраться на другой берег реки вброд. Мост то ли разрушили в войну, то ли вообще моста тут никогда не было. Точно не знаю. Отец перенёс через реку сначала меня, потом наши два тюка. Мама перешла сама. Дальше надо было идти лесом. Шли долго. Я очень устала и едва поспевала за родителями вприпрыжку, но хныкать не смела – отец запретил. А я отца всегда очень боялась. Наконец вышли на деревню.

Деревня называлась Страшево. «Электрификация всей страны» Страшева тогда ещё не охватила, возможно, по причине его неубедительного географического положения, а скорее всего благодаря государственной политике.¹ Никакие автобусы в Страшево не ходили. Не было там ни магазина, ни почты, ни милиции – одним словом, рай для человека «в бегах». Время, казалось, тут давно остановилось.

Станным образом фамилия у всех в деревне оказалась одна – Сумеркины, хотя и не все они были друг другу родня. Мама объяснила, что, наверное, когда-то эта деревня принадлежала помещику по фамилии Сумеркин. При крепостном праве крестьяне фамилий не имели. А по освобождению часто принимали фамилию своего бывшего владельца. Вот так у нас, например, распространилась фамилия Гагарин среди людей отнюдь не княжеского рода. Что же до названия деревни, то все эти годы я была убеждена, что на свете есть только одно Страшево. Но вот недавно вышла на интернет полюбопытствовать, что случилось с этой деревней, и глазам своим

¹ Политика режима в отношении электрификации советской деревни не имела ничего общего с ленинскими розовыми мечтами об электрификации всей страны. Так, например, колхозам запрещалось подключаться к государственным электростанциям. Их обязывали строить станции на собственные средства. А какие могли быть средства у начисто ограбленной правительством деревни на одиннадцать домов, где население состояло по преимуществу из стариков, женщин и детей? Вот так и получилось, что в 1949 г. от Рождества Христова дома в Страшево освещались свечами, керосиновыми или масляными лампами (это всё в хорошие дни), а то и просто лучинами.

не поверила. Прежде всего, оказывается, Страшевых в России немало: одно (а, может, и два) в Ленинградской области, два в Московской, одно в Нижегородской, одно в Псковской, одно в Ярославской, есть они и в Сибири, и т.д. А есть ещё Страшево в Польше и Страшево в Украине.² Ну, а во-вторых, наше Страшево теперь не только обозначено на карте, но там теперь и мост есть, и, кажется, железная дорога где-то не так далеко проходит, и автотрасса, и, конечно, электричество и телефон давно провели. И, наверняка, там теперь не одни Сумеркины проживают. Судя по интернетной рекламе, это теперь модное дачное место.

Но тогда в Страшеве всё ещё жили, как при царе Горохе. Только население состояло в основном из стариков, старух, молодаяк и ребятишек всех возрастов. Молодых мужиков практически не было. В войну ушли на фронт, да и не вернулись. Одни погибли на фронте, другие всеми правдами и неправдами зацепились и осели в городе. Откуда взялись маленькие детишки – одному Богу было известно, да ещё, наверное, сапожнику Петьке, которого в армию не взяли, насколько помню, по причине хромоты. Вообще-то, он был, как говорили старухи, «лядащенький такой мужичонка». Но, видно, на безрыбьи и рак рыба.

Поселились мы в избе дяди Вани и тётки Дуси Сумеркиных. Изба у них была старая и добротная. Вот только бревенчатые стены давно почернели. Я помню этот дом во всех подробностях потому, что я как бы попала тогда в мир своих любимых русских народных сказок. Я как-то сразу нутром поняла, что все Иванушки-дурачки и Емели-лежебоки жили вот в таких именно избах и спали вот на таких именно печках. Как и все остальные избы в Страшево, дяди ванина изба фасадом или, как в деревне говорили, «передом» выходила на улицу, а «задом» в огород. Помните, Баба Яга жила в избушке на курьих ножках, и, возвращаясь, приказывала: «Избушка,избушка, повернись ко мне передом, а к лесу –задом»! Вход в избу был не «с переду», а с правой боковой стороны, через сени. Как войдёшь в сени, направо - дверь в отхожее место, пристроенное к избе. Слева окошко. В центре –дверь в «тёплую избу» с высоким порогом. Надо смотреть под ноги, а то и споткнуться недолго. Зато из-под двери не дует. Слева около двери в избу бочка с питьевой водой и ковшом, а справа рамухойник. Под ним кадка для грязной воды, рядом висят полотенца. Дальше, по обеим сторонам двери вдоль стены – лавки, над ними крюки, служившие вешалками, а ещё выше – под потолком, вокруг всех сеней- - полки. В сенях хранилась всякая

² У Булгакова в «Белой гвардии» описывается как Алексею Турбину приснился «кошмар» в клетчатых штанах. Присев к Турбину на кровать, «кошмар» объяснял ему, что «Святая Русь – страна деревянная, страшная...». Вот, может быть, оттого на Руси так много деревень под названием Страшево?

хозяйственная всячина. Здесь же, за порогом, оставляли верхнюю одежду и обувь, когда заходили в дом.

Жилая («тёплая») изба делилась на две комнаты. В первой жила вся семья – дядя Ваня, тётя Дуся и их «младшенькая», Валька, на год или два старше меня. Они все втроём спали на печи. Огромная русская печь занимала почти всю стену по правую руку. Часть её с лежанкой выходила в светлицу, т.е. светлую комнату на два окна, где поместили нас. Напротив печи в первой комнате было окно, а в углу – стол с лавками и скамьями.³ Пол был дощатый, некрашенный. И стол – сосновый, гладко оструганный, тоже некрашенный. Скатертью его накрывали только по праздникам. Каждый вечер, после ужина, убрав посуду, тётя Дуся мыла стол и скребла его большим ножом, так что к утру он опять был как новый. Над столом, в левом углу напротив двери -- иконка на специальной треугольной полочке и с красной лампадкой, которую тётя Дуся зажигала каждую ночь.⁴ В светлице иконка была как раз наоборот в правом углу. Перед ней – тоже красная лампадка. В светлице стоял стол, четыре стула и два сундука. Была там также высокая никелированная кровать – гордость тёти Дуси – с самодельным стёганым лоскутным одеялом и несколькими подушками. На кровати спали мои родители. А мне стелили на лежанке. Раньше это была нюркина комната. Теперь же Нюрка, старшая дочь дяди Вани и тёти Дуси, работала на почте в Колчанове и жила в общежитии.

Приняли нас очень радушно. Дядю Ваню вскоре посвятили во все обстоятельства. Нюрке, которая иногда приходила домой по воскресеньям, было приказано зорко следить, не появятся ли в Колчанове любопытные «нездешние», и немедленно сообщить, если таковое случится. Время от времени мама всё же начинала беспокоиться, что её и тут отыщут. Но дядя Ваня успокаивал её: «Если Нюрка что заметит, то сейчас нам даст знать. И тогда у меня есть куда вас спрятать. Только уж как я вас оттудова доставать буду – это потом станем думать». По-видимому, дядя Ваня намекал на одну из старообрядческих деревень в лесу, до которых советская власть тогда ещё не добралась – видно, по пути в болоте завязла. Леса в том краю были дремучие, изобиловали непроходимыми болотами, волками, рысями и гадюками. Если не ошибаюсь, дяди ванина то ли

³ Лавки и скамьи – это не одно и то же. Лавки намертво прилажены к стене, а скамьи или скамейки можно двигать и переставлять.

⁴ Существует распространённое мнение, что икона или иконы всегда вешались в правом верхнем углу напротив входной двери. На самом деле это не всегда было так. В крестьянской избе икона или иконы находились или в правом, или в левом углу, в зависимости от того, располагалась ли русская печь по левую или по правую руку. В Страшево, насколько я помню, во всех избах печи находились вдоль правой стены, а иконы висели в левом углу.

сестра, то ли племянница, была замужем за старообрядцем и жила в одной из таких деревень, куда он один в Страшеве знал дорогу. Но я-то толком не понимала, что всё это значит. Вернее понимала всё по-своему, как понимают только дети. И вот однажды мне приснился страшный сон, что мы с мамой залезаем в какую-то тёмную яму, а дядя Ваня нас засыпает сухими листьями, ветками и землёй, так что достать нас «оттудова» уже никакой возможности нет. Это был один из тех снов, что не забывались и даже повторялись иногда.

Сны снами, но жить в Страшево мне всё-таки было хорошо и привольно. Я была при маме. Мама была при мне. И отец был с нами большую часть времени. Мы даже привезли с собой нашего чёрного котёнка Муху. Меня не надо было оставлять одну у чужих людей. Мне разрешали играть на улице целыми днями, скатываться с ребятами под откос на речку, лазать по деревьям, спать на сеновале, лежать на траве и тарашиться на облака, ходить на сенокос или в поле к Васютке, пасшему коров. А то смотреть как тётя Дуся доит корову, или как она ловко работает ухватом, ставя в печь и вытаскивая из печи горшки с кашей, пустыми щами или картошкой с грибами, или как она печёт калитки⁵. Мама с папой ходили в лес за грибами и ягодами и брали меня с собой. Отец всегда шёл впереди, потому что знал, где болота и как их обойти и умел ловко метнуть ножом в голову какой-нибудь гадюке, попавшейся нам в лесу или на дороге. В то лето мы видели также несколько волков. В первый раз, когда я увидела волка, то в восторге завопила: «Мам, смотри, какая красивая собака!» На что мне было сказано: «Не вопи, это волк, а не собака. Стой смирно – он сейчас уйдёт». Летом волки были сыты и, завидев издали людей, действительно удалялись без скандалов. Ходили мы и на рыбалку. Но почему-то у жителей деревни рыба ловилась прекрасно. А отец за всё время поймал только одну махонькую рыбёшку, на которую даже кошка напрезирала – понюхала, загребла сверху лапкой и отошла.

Все мы, включая моих родителей, с большим азартом играли в городки, которые в Страшево почему-то назывались «рюхами». А в дождливые дни, когда на улицу и выходить-то не хотелось, дулись в подкидного дурачка или в шашки. А всего лучше было, собравшись вечером за обеденным столом, слушать дяди ванины сказки. Он был удивительным сказителем. Даже знакомые сказки были у него в каких-то его собственных вариантах, обрастали новыми деталями и новыми словечками, обретали новый, неповторимый ритм. А были и такие, которых я никогда не читала и не слышала раньше. Например, была сказка (тётя Дуся её очень не одобряла) про одного крестьянина, у которого была ворчливая жена. Один раз она ему так надоела своей

⁵ «Калитки» - это ватрушки из ячменной муки с картошкой.

воркотнёй, что он возьми да и скажи: «Чёрт бы тебя побрал!» А чёрт тут как тут! Давай, мол, бабу-то. У нас как раз в аду щи да кашу некому варить. Да и утащил бабу. Дня два мужик радовался, а на третий и заскучал. Зачем, думает, бабу чёрту отдал. И как её назад воротить? А чёрт тут как тут: «Проси, - грит,- чего хочешь, только забирай,- грит,- бабу обратно. Больно ворчлива. У нас, - грит, - в аду за два дня всех чертей перессорила. Прямо жизни не стало». А мужик-то и рад. Да вот беда – не успел чёрт бабу домой принести да посередь избы поставить, как она на мужика набросилась: «Ах, ты такой-сякой! Чего стал, рот разиня? Ступай за водой!».

Дядя Ваня в «мирное время» (т.е. до революции) служил у барина в конюхах. Он был очень умён, наблюдателен и остёр на язык. К тому же он умел читать. И что интересно - у него было классовое чутьё. Отца моего он любил, но называл Саньчем и на ты. А маму только по имени отчеству и на Вы. Один раз я сама слышала, как он сказал: «Саньч, ты б сходил за водой. А я самоварчик поставлю. Оне (т.е. моя мама) встанут – ан чай-то и готов». Отец не обижался. «Классовой дискриминации» он уже и раньше подвергался, когда они с мамой только поженились. Всякий раз, когда они с мамой приходили в гости к её родственникам, прадедушка Корнилович подозрительно вглядывался в него и неизменно спрашивал: «Кирочка, кто этот сюжет?»

«Товарищев этих нонешних» дядя Ваня глубоко презирал. Однажды тётя Дуся пришла с поля возбуждённая. «Слышь, Вань, Матвеич сказывал, что давеча в лесу русалку видал». «А ты и рот разинула. Дурак он твой Матвеич! Какие там в лесу русалки? Русалки нонеча токо у берегов Африки проживают. А в лесах да в болотах у этих его товарищев нонеча ни тебе леших, ни тебе кикимор – ничегошеньки. Как есть пусто. Видать тоже взаграницу сбегли – есть-то неча. Одни токо волки несытые бродют».

Есть в Страшеве действительно было «неча». Дело в том, что советская власть про Страшево вроде как бы и забыла, да не совсем. То есть колхоз там всё-таки был. Был у них, разумеется, и председатель колхоза, вот этот самый Матвеич. Да, да, не удивляйтесь. В Страшеве был колхоз. И в этом и заключалась, по существу, трагедия Страшева, как и большинства малых деревень, во всяком случае в северной полосе европейской части Советской России. В отличие от страшевских баб, земля там была неплодна. Росли там в основном рожь, ячмень, овёс, капуста, картошка и лук. Колхозных коров, насколько я помню, было штук десять, да в каждой семье было по одной собственной корове. Бык же был один на всю деревню, и тот всё больше кочевряжился и оплодотворением занимался халтурно. Денежной компенсации за труд, или попросту зарплаты,

колхозникам, как известно, до самого 1966-го года не полагалось. А платили за работу «трудоднями». На мой вопрос, что такое трудодень, мне было сказано, что это значит «трудо­вой день». Но от такого объяснения ничего понятнее не стало. Как можно за что-то платить «трудо­выми днями», - недоумевала я. Вот тётя Дуся, например, целый день трудится на колхозном поле, а ей за эту работу этим же трудовым днём платят? Через десять минут этот вопрос, естественно, перестал волновать мои ребячьи мозги. Но вот и на старости лет, возвращаясь памятью к тем годам, я никак не могла взять в толк, что же всё таки означает этот термин, и решила заглянуть в какой-нибудь авторитетный словарь или справочник. И вот что я нашла. Согласно Большой Советской Энциклопедии, «**Трудодень** - мера затрат труда колхозников в общественном хозяйстве и их долевого участия в распределяемых доходах, применявшаяся в колхозах до 1966; специфическая экономическая категория, порожденная конкретно-историческими условиями развития колхозного производства». В принципе я спорить с этим определением не могу – образования не хватает. Но есть в этом определении одна часть, которая, я точно знаю, к Страшеву была никак не приложима – это насчёт « долевого участия в распределяемых доходах». Никаких таких доходов никто в Страшеве не распределял, потому что нечего было распределять. Государство забирало в форме «закупок сельскохозяйственных продуктов» практически всё, что в колхозе произрастало или надаивалось от коров. Из Страшева всё это надо было возить в Колчаново, где находился закупочный центр. Но закупочные цены были намного ниже магазинных, так что едва хватало на мыло, соль, спички и подсолнечное масло. И это ещё не всё. Так называемые индивидуальные «подсобные хозяйства», необходимые крестьянину и его семье для выживания, облагались бессовестно высоким налогом. И оттого вся деревня попросту голодала большую часть года. Я помню, что, когда в первый раз, в восьмом что ли классе, прочитала «Путешествие из Петербурга в Москву», то знаменитое горестное восклицание Радищева «Звери алчные! Пиявицы ненасытные! Что крестьянину мы оставляем? Только воздух – и тот, потому что отнять не можем» отнюдь не показалось мне художественным преувеличением.

Теоретически государство оказывало помощь колхозам посевным зерном и сельскохозяйственной техникой. В газетах, журналах, на киноэкранах страны развесёлые молодые трактористы пахали, бороили, засеивали колхозные поля и собирали «небывалые урожаи». И каждый из них между делом строил здоровую советскую семью с какой-нибудь «задорной» передовой дояркой, которая «неуклонно повышала норму удоя

молока с каждой коровы». Но никаких таких молодых трактористов я в Стрешеве не видела. Не видела я там и самой техники. Что же до коров, то вот тётки дусина корова, например, сколько бы её за сиськи не дёргали, больше трёх литров молока в день не давала. Может, от того, что личная жизнь не сложилась. А, может, потому что корму было мало. У тётки Дуси была, правда, другая теория. Дело в том, что эта корова была моя тёзка, - её тоже звали Майкой. Корове это городское имя, видно, нравилось. Тётя Дуся говорила, что она, наверное, поэтому «об себе так много понимает и молока мало даёт». Во всяком случае, каждый вечер, когда стадо пригоняли с поля, Майка останавливалась перед нашим окном и приветствовала меня: «Му-у-а-айа!...» Как сами понимаете, меня из-за этой Майки вечно поддразнивали.

Раз в неделю отец ездил в город за продуктами. Всё это было не так просто. Нужны были деньги, а их у моих родителей не имелось. Продукты надо было покупать в очень большом количестве – нельзя же было есть, не делаясь со страшевцами, которые голодали. Продукты кто-то должен был закупать в Ленинграде и каким-то образом отцу передавать. И тут наш Великий Конспиратор разработал целую систему. Было задействовано несколько друзей. У отца был близкий друг в Ленинграде, Илья Шмушкевич – крупный ядерный физик. Я помню его очень хорошо, потому что в конце 50-х и в 60-х гг. он у нас часто бывал. У Ильи было много друзей-физиков в Москве, имён и фамилий не помню, кроме Аркадия Мигдала. С Ильёй отец подружился незадолго до войны через свою подругу Музу Павлову. До войны Муза была близкой приятельницей и соученицей папиного покойного брата Лёни по Ленинградской консерватории. Первым браком Муза была замужем за армянским физиком, одним из братьев Алиханьянов, некоторое время жила в Ереване, а потом переехала в Москву. У неё, естественно, тоже было много друзей-физиков в Москве. Музу я тоже очень хорошо помню, потому что и она в 50-х и 60-х гг. у нас иногда бывала. В те годы это была всё ещё очень эффектная, какого-то цыганского типа артистичная женщина, которая потом вышла замуж (третьим что ли браком) за какого-то нудного плешивого поэта, намного моложе её. Но вернёмся к продуктам и конспирации. Муза собрала деньги с московских физиков - своих друзей и друзей Ильи Шмушкевича - и привезла их в Ленинград Илье. Илья поручил кому-то (к

сожалению, не знаю кому – сестре ли, жене ли, или ещё кому. Я вообще, к сожалению, почти ничего не знаю о его жизни) закупать еженедельно продукты. Раз в неделю к нему за ними приезжал Дима Поляновский, очень близкий друг моих родителей, и отвозил их на вокзал в условленный день и час. Причём это каждый раз был другой вокзал. Тогда можно было доехать до Гатчины и с Балтийского и с Варшавского вокзала, а там пересесть на другую линию и ехать до Волховстроя. А можно было ехать до Волховстроя прямо с Московского вокзала. Всех деталей я не помню – была ещё ребёнком. Помню только, что отец прибывал в Страшево, неся на плече здоровенный тюк продуктов: чай, сахар, крупу, макароны, растительное масло и тушёнку. Всё это честно распределялось между страшевцами.

Страшевцев мы очень полюбили. И они отвечали нам тем же. У меня навсегда остались удивительно тёплые воспоминания об этой деревне и её людях. Несмотря на трагичные судьбы отдельных семей и всей деревни, страшевцы были очень вежливы и приветливы. И вот что удивительно -- я ни разу ни от кого в деревне не слышала сквернословия и не видела ни пьянства, ни драк. Не проявлялся и антисемитизм. А ведь сколько всей этой гадости я наслушалась, насмотрелась и натерпелась в городе до и после нашей жизни в Страшеве!

Мне очень нравился местный говор, с его неспешным ритмом, давно забытыми словами и непривычной грамматикой и ударениями. Никто, например, не говорил «мёрзнуть», а только «зябнуть». Были в ходу такие слова как «нонича, таперича», «вёдро» (т.е. хорошая погода), «нёлюдь» т.е. плохой человек или плохие люди, «неча» вместо нечего. Говорили «глупой, глупая», а не глупый, глупая. Например, сказка про некоего Догаду начиналась так: «Была в лесу глупая деревня....» Было в употреблении нечто вроде артикля, только ставился он не перед существительным, а позади него. «Шапка-та, в шапке-той», «Дом-тот, в дом-том». Со средним родом случались недоразумения – местные жители не особенно отличали его от женского. Говорили, например, «корыто-то дырявая». Существовал переходный глагол «пописывать» кого-нибудь. Например, соседка, уходя на полевые работы и оставляя Вальке на попечение своего малыша, говорила «Валь, ты ж

пописывай Витьку!» А ещё в местной грамматике были интересные отглагольные формы, например, причастия прошедшего времени от глаголов движения в страдательном залоге: «У ей дети спать завалёны, а у самой уйдено.» Всё это, конечно, давным-давно позабылось. В наши дни радио, телевидения и свободного передвижения по стране диалектальные различия всё больше стираются и язык, как и одежда и культура вообще, по всей стране нивелируются. Впрочем, этот процесс идёт и по всему миру.

Тишина и непритязательная красота страшевской природы действовали на моих родителей как бальзам. Именно в Страшеве я впервые узнала, что мой отец художник, а мама замечательно вышивает гладью по собственным рисункам. Мамины вышитые скатерти были предметом неизменного восхищения всего женского населения Страшева. С папиной живописью дело было несколько сложнее. Папа привёз с собой этюдник и акварельную бумагу и в хорошую погоду часто писал страшевские пейзажи. При этом за спиной у него обычно стояло полдюжины критиков - местных ребятишек. Чаще всего их восхищало, что, мол, смотри, ведь как живое! Но однажды один мальчонка поставил художнику на вид, что вот это, мол, дерево на самом деле вовсе и не тут стоит. Папа попробовал ему объяснить, что он же не фотографию делает и что для композиции дерево пришлось перенести. Но было ясно, что он своего критика не убедил, в основном потому, что никаких таких учёных слов вроде «композиции» критик не знал. И, представьте себе, ребёнок перестал интересоваться искусством. Зато сапожник Петька проявил к искусству личный интерес. Однажды он завёл с папой такой разговор:

- Саныч, вот я сапожник, а ты художник... а ты патреты рисовать умеешь?

-Умею

-А ты б нарисовал мой патрет, а я б тебе сапоги сшил, а?

Отец согласился. Петька, понимая всю серьёзность задачи, терпеливо сидел для портрета. Но Петька был мыслителем и часто задумывался о смысле жизни и о человеческих судьбах. И вот во время одного из сеансов писания «патрета» он вдруг неожиданно спросил:

-А вот ты скажи, какие у человека самые что ни на есть главные органы?

-Не знаю

-А я тебе скажу: мозга́, пищевар и мешковидная железа.

Лето пролетело незаметно. Наступил октябрь со своими дождями и холодными ветрами. Надо было двигаться в путь, пока дороги ещё не совсем размыло. Но куда? Отец опять побывал в городе, повидался с Наумом Наумовичем, который заверил его, что органы уже наверняка давно нашли более сговорчивого «друга» Льва Николаевича, и мама им уже неинтересна. Пора было возвращаться в Ленинград.